

Александр Марков

Республика речи без республиканцев

DOI: 10.53953/08696365_2023_179_1_361

Блинов Е.Н. Пером и штыком: введение в революционную политику языка.

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 312 с. — 600 экз. —
(Политическая теория).

Книга Е.Н. Блинова, специалиста по социальной эпистемологии, посвящена политической функции языка. При этом язык рассматривается в книге не просто как признанный порядок высказываний, а как столкновение двух противоположных движений: в сторону *вернакуляризации* (вульгаризации официального языка, превращения его в повседневную речь) и в сторону *вешкуляризации* (преобразования имеющихся наречий в официальный язык). Языковая политика поэтому понимается всякий раз не как одноэтапная, но как двухэтапная: не просто приведение существующих говоров к какой-то общей официальной норме, но сначала выбор из диалектов, в том числе вполне приобретших официальную форму и даже письменную инерцию, а уже потом упорядочение официального языка в качестве основного материала для ситуативного высказывания.

В соответствии с такой усложненной моделью Блинов трактует революционную политику в области языка не как замену одного канона другим, но как *подмену*: прежняя официальная норма объявляется диалектной, частной, связанной с классовыми или групповыми интересами, тогда как новая норма выстраивается революционными институтами. С новых позиций старая норма объявляется одновременно частной и уже вовлеченной в политическую жизнь; поэтому, отменяя старую политику, например сословную или партийную, можно отменить и те свойства официального языка, которые несли на себе след частной заинтересованности. Таким частным было для революции прежнее употребление режимов публичности, когда *формы воображения*, подразумеваемые языковыми образами, неразрывно сопрягались со старыми картинами «власти», «народа» или «мира».

Одним из главных героев книги Блинова стал Ж.-Ж. Руссо (ключевые моменты рассуждения о Руссо уже ранее стали доступны читателям¹). Для Руссо язык прежде всего механизм социализации, но социализации неполной, слишком быстро распадающейся на такие институты, как семья, политика и труд. Блинов цитирует (с. 69) остроумное замечание Руссо в письме Юму, что орангутанги вполне могут быть столь же разумны, сколь и люди, просто они не говорят в силу сговора, чтобы их не заставили работать. Действительно, сговор часто бывает молчаливым: все его участники понимают, какое поведение может обеспечить максимальную выгоду. Тогда собеседникам Руссо приходится признать, что язык — механизм, *подрывающий выгоду*, заставляющий людей действовать иногда невыгодно, например вступать в конфликты или подчиняться власти даже там, где этого подчинения можно

1 См.: Блинов Е. Речь как первое установление общества: Руссо и революционная политика языка // Логос. 2013. № 6. С. 67–96.

было бы избежать. Распад речи человечества на различные языки, по Руссо, — следствие взаимопомощи людей, которые помогают друг другу как словами, так и телесными жестами, но из-за этого человек лишается возможности подражать природе до бесконечности, заимствуя по ходу у нее все те инстинкты, которые и возносят человека над природой как универсальное существо (с. 70). Ведь животные особо не подражают друг другу и не могут поэтому достичь человеческой универсальности; тогда как человек, развив в себе исторически способность подражания, был универсален с самого начала, только ему пришлось договариваться о частных вещах, тем самым превращая универсальный язык в национальный или профессиональный. В конце концов, Руссо выводит развитие языка как звуковой речи из необходимости кооперации вокруг водоемов, когда нужно устно договариваться о водоеме для скота и об орошении земель.

Тогда получается, что Руссо может описывать власть только негативно, как институт, который заставляет людей нуждаться в себе именно потому, что отнимает у них способность к бесконечному подражанию. Но вряд ли то, как Руссо понимал власть, сводится к такой герменевтической петле: нуждающаяся в публичной речи власть заставляет всех нуждаться в себе, повергая всех в эту пропасть собственной нужды или мнимой нужности. Ведь сам Блинов, описывая далее революционный проект Руссо, говорит о прямо противоположном — о том, что Руссо как раз исходил из публичности революционной власти, которая нуждается прежде всего в орудиях обеспечения этой публичности, таких как газеты, тогда как народ привык к старой публичности.

Эта публичность в конце концов и образует авансцену революции. Так, Блинов пишет, что современники Руссо пытались издавать газеты на диалектах (с. 86), изобретая «патриотизм» как умение говорить о происходящем здесь и сейчас, на общих основаниях, а не из следования привычкам власти. Но такой «патриотизм» постоянно наталкивался на скудость диалектов: политическая терминология была развита только в унаследованном от старого режима французском языке, который не был языком местных сообществ, и, таким образом, поневоле транслировала ценности и установки старого режима. А чтобы газета заговорила о политике, требовались республиканские словари. Заметим, что советское просвещение в толковых словарях, справочниках и комментариях тоже пыталось трактовать политические понятия таким образом, чтобы они воспринимались как необходимые для местного политического участия, а не для большой политики. Когда колхознику объясняли, какие государства существуют в Африке или что такое либерализм, это имело в виду не участие колхозника в международной дипломатии или политике, а способность колхозника найти и для своей общественной деятельности подходящие слова. Тем самым колхозник оказывался на авансцене публичности, но эта публичность была местного значения, и официальный язык был выстроен так, чтобы указать на местный *масштаб* большинства политических действий.

Но в сюжете книги Блинова в конце концов революция перешла к искоренению контрреволюции, а значит, борьбе с теми наречиями, которые отличались от столичной нормы. Эти наречия признавались когнитивно и коммуникативно ущербными: их носители не могут понять пользу новых революционных законов, потому что не схватывают их терминологическую структуру и их модальности; также они не могут преодолеть инерцию того, что наречия, включая официальное, учреждены старым порядком и несут в себе несправедливость того времени в распределении благ. Но здесь следует задать поставив вопрос: позиции деятелей того времени, таких как аббат Грегуар, должны ли быть признаны публичными или частными? Иначе говоря, когда они предлагали ряд технических мер для работы с языком и одновременно эти меры, как выясняется, прежде всего обслуживали

развитие технологий, например унифицируя стандарты измерений и алгоритмы технической деятельности, было ли это публичным действием, которое технологизирует революцию, или же решением частного вопроса, после того как техники революции и контрреволюции в полной мере заявили о себе и когда осталось их только внедрить?

Если говорить о сверхзадаче книги, то это попытка оспорить притязания французской теории (в лице Фуко, Делёза и Деррида) на то, чтобы разобраться в языковой ситуации современности как области гражданских, этнических и управленческих конфликтов, показав, что те явления контроля, дискриминации или навязывания идеологии, о которых говорили представители критической теории, могут быть объяснены проще при обращении к отечественному наследию. М.М. Бахтин и В.В. Виноградов оказываются союзниками в критике французской теории: наблюдая за тем, как было устроено пользование диалектами до и после революции, они смогли объяснить, когда язык сопротивляется и локализует власть идеологии. Символами их работы становятся как рассуждение Бахтина о том, что крестьянин пользуется различными формами языковой деятельности (с. 186), от церковнославянского слова до слова газеты, никак не соотнося их со своей личностью, так и стремление Виноградова в противоположность фантастической генеалогии языка Н.Я. Марра создать учение о началах самоорганизации в языке, о том, как язык поддерживает не только семантическую устойчивость, но и устойчивость употребления, своего рода протостиль, соответствующий пролетарскому централизму (с. 168).

Таким образом, французская теория на фоне русской выглядит как уже вставшая на сторону *речи*, уже выясняющая, как запущена некоторая идеологическая риторика, которую можно оспорить, только введя какую-то не менее масштабную, чем язык, метафору (например, «карта» или «детерриториализация и ретерриториализация» у Делёза). Тогда как русская теория как раз выявляет, где такая риторическая речь не работает, как она может автоматизироваться и тем самым перестать быть политико-идеологической. Следует заметить, что Блинов не первым стал сблизать русскую теорию с таким риторическим апофатизмом: так, О.А. Седакова в статье о явлениях святости в романах «Идиот» Достоевского и «Доктор Живаго» Пастернака заметила, что в этих произведениях главенствует оппозиция не святого и мирского, а святости как предмета стремления и святости как постоянства². В обоих романах все основные герои стремятся к святости или, во всяком случае, имеют себя в виду ввиду святости, и поэтому святость главного героя, пытающегося действовать последовательно, оказывается «неудавшейся епифанией», где постоянство святости означает ее локализацию и в конце концов неудачу, притом что святость уже действует в мире. Так, по мнению Блинова, русские теоретики открыли, где может речь обрести постоянство, стоящее по ту сторону как идеологий, так и критики идеологий, и тем самым, оказавшись неудачной и с той и с другой точки зрения, показать, что язык уже действует в мире.

Если излагать отношение Блинова к французской теории очень упрощенно, то у него Делёз оказался жертвой соблазна Эмиля Бенвениста, а жертвами соблазна Делёза стали другие французские интеллектуалы, занимавшиеся языком. Как пишет Блинов, для Бенвениста язык есть средство познания общества, тогда как общество не есть средство познания языка, язык есть «нечто вроде сверхинститута» (с. 34). Но идея Бенвениста состояла не в том, что язык функционирует как магистральный социальный институт, которому *волей-неволей* подражают другие инсти-

2 См.: Седакова О.А. Два христианских романа: «Идиот» и «Доктор Живаго» // Литературоведческий журнал. 2002. № 16. С. 177–189.

туты. Бенвенист скорее, в соответствии с представлением Фрейда о влечении, полагал, что социальные институты исходят из «нехватки» и обращаются к языку там, где нет возможности отрегулировать институты так, чтобы они овладевали реальностью.

Например, обосновать собственность только институциональными средствами невозможно, но можно обосновать категории *лица* или *местоимений*, которые и образуют фантом собственности. В этом смысле у Бенвениста есть петля взаимной зависимости: язык испытывает существенную нехватку средств выражения, никогда его категории не исчерпывают всех возможных социальных отношений, и социальная жизнь образуется как компенсация нехватки, как обретение непосредственных инструментов социального действия. Но и это действие тоже оказывается внутри недостижимого желания, внутри постоянного пестования желаемой социальности, которая оказывается *фантомной* и порождает язык как *замену* социальности. К сожалению, в книге Блинова слишком мало говорится о такой психоаналитической экзатичности и слишком много о простой миметичности, хотя даже учет самых известных книг Бенвениста³ потребовал бы параллельного обращения к Фрейду, Лакану и их последователям, вплоть до Люблинской школы, для понимания границ этой мысли.

Когда Блинов говорит о советской языковой политике, о таких явлениях, как «коренизация» или борьба с марризмом, когда излагает споры о статусе литературного языка и потенциале диалектов с участием Л.П. Якубинского и Е.Д. Поливанова, он тонок и всегда прекрасно объясняет, как в этих процессах проявляется собственно политическое: система различий, обеспеченная языком. Но как только речь идет об экономике экстаза или о других темах французской теории, кажется, что автор делает все, чтобы не показать специфически французские вещи: я не встретил в книге ни одного *слова-бумажника*, ни одного рассуждения, подражающего физике или математике (впрочем, каждый имеет основания бояться своих Сокала и Брикмона), ни одного словосочетания, которое сразу бы опознавалось как французское и не принадлежащее более ни одной национальной академии, как мы условно привели эту «экономику экстаза». И кажется, что сравнения взглядов русских и французских теоретиков иногда «провисают». Ограничусь двумя примерами.

Анализируя то, как Бахтин понимал языковое сознание и возможность внутреннего диалога, допуская при этом, что каждый герой полифонического романа может выступать как идеолог, Блинов видит в этом тезисе Бахтина сопротивление советской утопии утверждения совершенного языка как пролетарского языка, то есть выполняющего исключительно функцию *социализации* и *ресоциализации*, а также попытку прийти к тому же, к чему пришел Делёз, рассуждая о *номадизме*, — к тому, что осознание себя политическим субъектом требует изменения территориальных параметров ради освобождения от прежних структур власти. Поэтому Блинов называет подход Бахтина по образцу делёзовского «шизоаналитическим», имея в виду, что, по Бахтину, личное или «коллективное тождество ничем не гарантировано и в рамках самосознания группы или индивида могут сосуществовать взаимоисключающие на первый взгляд элементы» (с. 188).

Но так ли это? Прежде всего, Бахтин никогда не говорил о том, что сосуществование взаимоисключающих вещей в речи индивида или в идеологии коллектива непременно ведет к разрушению тождества. Наоборот, его концепция «речевых жанров», усвоенная французской теорией как понятие *дискурса*, подразумевает,

3 См., например: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1995.

что отдельный голос не только тождествен себе, но и стремится привлечь к этому тождеству другие субъекты и вещи. На этом основано и бахтинское понятие о *скандале* в мире Достоевского, где герой осуществляет это тождество, будучи к тому же недоволен ситуацией, в которой он лишен публичного представительства. Но на этом же основано и понятие Бахтина о *карнавале*, подразумевающее *атомарное* отождествление тождеств, когда пластическое осуществление маски или позы разом утверждает все соседние тождества, — и перевернутый мир карнавала закрепляет изначально спровоцированную обстоятельствами речь в качестве уже самодовлеющей.

Затем, Бахтин очень строго различал позицию говорящего вообще и позицию романного героя. Говорящий мог вполне реализовывать себя в своей противоречивости, исходя из того, что не он начинает какой-либо жанр. Тогда как романский жанр, именно благодаря его всеохватности, тому, что он собирает в себе остатки всех остальных жанров, не может оставить места противоречивости, так как все противоречия уже обосновали самый этот жанр. Поэтому герой и выступает как идеолог: не в смысле проводника идеологии, а в смысле того, кто может высказать содержание сознания так, что это будет опознано именно как содержание сознания, а не как мнение. Именно здесь я вижу пересечение Бахтина с марксизмом и неомарксизмом, где получается, что как раз учредительный материальный базис и делает надстройку идеологической, базис и есть учреждение во всех смыслах. Просто Бахтин противопоставлял свою логику романа официальной советской, *этической*, и потому недостаточно критической. Так что интерпретация Блиновым близости Бахтина и Делёза должна быть исправлена: дело не в том, что речь *ризоматически* ветвится, определяя начальные позиции, а в том, что позиция сама по себе имеет материальный субстрат и у того, и у другого, только у Бахтина он реализуется в речи, а у Делёза — в действии.

Другой пример — Блинов рассматривает, порвал ли Фуко окончательно со структурализмом и его чаяниями идеального языка. «Если речь идет о языке как образцовой семиотической системе или универсальном регуляторе, то на него следует дать положительный ответ. Но если мы говорим о некоем идеале функционирования политического языка в свободном обществе, а именно такой смысл вкладывали в это понятие французские якобинцы и советские языковые строители, то здесь Фуко определенно не сказал своего последнего слова» (с. 217—218). И здесь тоже сразу два возражения. Во-первых, Фуко сказал последнее слово в своих лекциях второй половины 1970-х гг., таких как «Нужно защищать общество»⁴, где показал, как власть, война и капитал разрушают привычную речевую обстановку; а значит, никакого идеального политического функционирования языка быть не может — просто потому, что гоббсовская модель государства и общества требует от языка быть выстроенным настолько, чтобы обо всех вещах можно было договориться и тем самым снизить политическую остроту речи. С этой точки зрения якобинцы и советские языковые строители выступают как радикалы, чей радикализм должен быть оспорен еще более радикальными проектами, о которых *нельзя до конца договориться*, и именно поэтому эти проекты и будут по-настоящему политическими — отсюда симпатии ряда французских левых к маоизму, а самого Фуко — к наступлению новой эпохи во всемирной политической истории, чем объясняется и его скандальная для левых снисходительность к США и Израилю.

Во-вторых, Фуко никогда не утверждал, что язык не может стать универсальным регулятором критической повестки. Во всяком случае, *парресия* по Фуко означает, что речь может быть милостива к самому говорящему, помиловать в момент

4 Фуко М. Нужно защищать общество / Пер. с фр. Е.А. Самарской. СПб.: Наука, 2005.

смелого выступления, и эта милость вполне может быть универсализована. Далее Блинов пытается реконструировать, как развивалась бы мысль Фуко о *паррессии*, видя в этом попытку возродить античное мужество, когда твое субъективное заблуждение не так важно в сравнении с видимой всем смелостью — известные ситуации неудачливых полководцев. Но как раз у Фуко паррессия — не вопрос о теоретическом заблуждении, которое может быть оправдано общим риском жизни и смерти, он тут выступает не в гегельянской логике *господина* (рискующего жизнью) и *раба* (предпочитающего благополучие), но скорее в кантианской логике *субъекта как такового*, который может подтвердить свою правомочность тем, что и его собственные заблуждения будут подлежать тому же действию права, что и чужие заблуждения, и тем самым получить суд и милость.

Кажется, Блинову хочется порой показать, что во французской культуре слишком быстро накопилась усталость от ситуации мая 1968 г. с ее практической неопределенностью и отсутствием достаточных слов для современности и что эта усталость выражалась в постоянном обращении к *диалектике*, в превращении *структуралистских оппозиций* (связанных с языком и речью, диалектом и официальным языком, письменным и устным словом, миноритарным и мажоритарным языком) в диалектические моменты политического действия, направленного на политизацию языка, на то, чтобы язык как способность вдруг начал войну всех против всех, но из-за отсутствия всеобщности в членах оппозиции провозгласил бы текущую практическую победу какой-то из политических сил. Примером такой войны и победы Блинов видит технику Кафки в трактовке Делёза и Гваттари: писать на немецком языке как на языке пражского большинства, объявившего себя большинством по умолчанию, объявившего попутно чехов меньшинством, а евреев просто не замечавшего, — именно чтобы вывести еврейское в область видимости и для большинства, и для меньшинства (с. 247). Он усматривает параллели такой *новой видимости по ту сторону мнимого меньшинства и мнимого большинства* и в официальной советской политике, например в установлении нормы узбекского языка, которая не была бы подчинением пантюркистскому меньшинству Узбекистана, но сделала бы видимым русское как более общую норму. Но кажется, Делёз и Гваттари говорили о другом, не о новых «способах» использования привычных языков с практическими тактическими победами, но о том, что полезность каждого языка заканчивается там, где начинается Кафка с его капризным отношением к собственному говорению на языке, наподобие того как платоники капризно относились к факту бытия в теле. Блинов пытается взять в союзники Мишеля де Серта как уставшего от мая 1968 г. и сразу пытающегося «взять слово», но, кажется, брать слово можно только тогда, когда ты не устаешь от реплик других.